

8/01
Б.43

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

*Редакция текста
и вступительная статья
Ф. М. ГОЛОВЕНЧЕНКО*

127446

1957



ПРОБЕЖНО
1956

Человская
областная библиотека
абонемент № _____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД 1949

В
М



B. Frimmer

(1841)

(1841)

К БРАТУ КОНСТАНТИНУ

(отрывок)

29 сентября, 1831 г.

Ты опять принялся за стихи — это мне не нравится. Ты просишь разобрать их; скажу тебе просто (не погневайся на мою откровенность), что они так плохи, что ниже всякой критики. Что за метромания такая напала на тебя? Какая в этом польза? К чему зря время терять? Чтобы быть поэтом, надобно иметь отличные дарования, творческое воображение, творческую душу, чувства пламенные, темперамент горячий, характер раздражительный, пылкий; надобно уметь и мыслить и чувствовать *особенным* образом, видеть там много, где другие ничего не видят. Спроси себя: узнал ли ты себя в этом портрете? Ежели нет, то разбей свой нестройный гудок, изорви скрипучие струны, и забудь писать стихи. Ежели в иные минуты тебе захочется покинуть скучный мир действительности и устремиться в очаровательную страну воображения, чтобы созерцать там вечную, беспокровную красоту идеального изящества, то разверни какое-нибудь творение какого-нибудь художника и наслаждайся чистым, святым и безмятежным восторгом... А сам лучше учишься писать прозой и для того упражняйся в прозаических сочинениях: я охотно берусь поправлять их. Уменьше писать прозой необходимо в действительной жизни. Жалок и вместе достоин презрения тот, кто не умеет несколько строк написать правильно и с толком. И для того учишься грамматике, читай хорошие прозаические сочинения, вникай в их дух и, руководствуясь сими образцами, учишься сам писать так же легко, свободно и приятно.

Учиться нет стыда — невеждой стыдно быть.

К К. С. АКСАКОВУ. 21 ИЮНЯ, 1837 г.

Пятигорск. 1837, 21 июня

Любезный друг Константин, вчера я получил известие, что дела мои, насчет сбыта грамматики, идут гадко. Что делать? Впрочем, я привык к такому счастью и, если бы своими дурными обстоятельствами не портил обстоятельств людей, привязанных ко мне, то без всякого огорчения почитал бы себя пасынком судьбы. Честная бедность не есть несчастье, может быть, для меня она даже счастье; но нищета, но необходимость жить на чужой счет — слуга покорный — или конец такой жизни, или чорт возьми все, пожалуй, и меня самого с руками и ногами! Если грамматика решительно не пойдет, то обращаюсь к чорту, как Громобой, и продаю мою душу с аукциона Сенковскому, Гречу или Плюшару, что все равно, кто больше даст. Буду писать по совести, но предоставляю покупщику души моей мариать и править мою статью как угодно. Может быть найду работу и почестнее, но во всяком случае еду в Петербург, потому что в Москве, кроме голодной смерти и бесчестия, ожидать нечего. Служить решительно отказываюсь: какие выгоды даст мне служба взамен потери моей драгоценной свободы и независимости? Ровно никаких, даже средства жить, потому что, прежде всего, мне надо выплатить мои долги, а их на мне много, очень много. Мысль, что Николай Степанович беспокоится насчет уплаты, что Сергей Тимофеевич, может быть, упрекает себя за это беспокойство, — эта мысль легла на мою душу тяжелою горою и давит ее. Но что бы ни было, а надо, наконец, не шутя подумать о совершенном прекращении всех таких неприятных мыслей. Итак, прости Москва, здравствуй Петербург! С Москвою у меня соединено все прекрасное

жизни; я прикован к ней; но и в Петербурге можно найти жизнь человеческую: затвориться от людей, быть человеком только наедине с собою и в заочных беседах с московскими друзьями, а в остальное время, вне своей комнаты, играть роль спекулянта, искателя фортуны, охоты по деньгам. Отчуждение заставит глубже войти в себя и в самом себе искать замены утраты всего, что было мило, а это милое — вы, друзья мои. Но, может быть, обстоятельства переменятся. Я уверен, что Полевой напишет о моей книге в «Библиотеке для Чтения», что «Пчела» ее разругает, а то и другое равно важно: хуже всего молчание — оно убивает книгу, тогда как брань и ругательства часто возвышают ее. Но мне пишут, что ты хотел где-то и что-то написать об ней: бога ради, брат, поснесси. Это не будет приятельскою проделкою: ты можешь говорить по совести, что думаешь, хвалить, что найдешь достойным хвалы, бранить, что найдешь дурным. О тоне нечего и говорить: даже и в случае решительного охуднения — чем резче, тем лучше.

В Воронеже я встретился с М. С. Щепкиным. Чудный человек! С четверть часа поговорил я с ним о том и о сем, и еще более полюбил его. Как понимает он искусство, как горяча душа его — истинный художник, и художник *нашего* времени. Вечером пошли мы в театр; дочь его играла (очень мило) Кетли. В антрактах он морил нас своими шутками и остротами. В театре, где другой бы на его месте походил на потешника толпы, смиренного актера, он казался толстым, богатым и беззаботным баринном, который пришел от скуки взглянуть, что тут делается. Дочь его была принята воронежскою публикою с восторгом; через день объявлен был «Ревизор», и мы с сожалением выехали из Воронежа. Воронежские актеры чудо из чудес: они доказали мне, что область бездарности так же бесконечна, как и область таланта и гения. Куда перед ними уроды московской сцены! Впрочем, одна актриса с талантом, недурна собою, даже с грациею, играет мило и непринужденно; жаль только, что эта непринужденность часто переходит в тривиальность. Есть также там один актер (кажется, Орлов), если не с талантом, то не без таланта.

Я взял с собою две части «Вестника Европы» и перечел там несколько критик Надеждина. Боже мой, что это за человек! Из этих критик видно, что г. критик даже и не подозревал, чтобы на свете существовала добросовестность и убеждение, любовь к истине, к

искусству. Он извивается, как змея, хитрит, клеветает, по временам притворяется дураком, и все это плоско, безвкусно, трактирно, кабацки. Что он написал о Полтаве! Проверишь ли, что в этой критике он превзошел в недобросовестности самого Сенковского. А его перебранки с «Сыном Отечества», его остроты, что твой Александр Анфимович Орлов! Я читал и бесился. Его можно опозорить, заклеить, и только глупое состояние нашей журналистики до 31 года помогло этому человеку составить себе какой-то авторитет. Чтобы ты не приписал моих слов влиянию последнего поступка со мною со стороны этого человека, то вот тебе честное слово, что я нимало не сердит на него, что я иногда с удовольствием вспоминаю о нем и презираю и ненавижу его только тогда, когда читаю его гадкие и подлые «недоумочные» гаерства. Прошу тебя, любезный Константин, прочти все его статьи, прошу тебя об этом, как об одолжении: если ты не почувствуешь того же, что почувствовал я от них, то *крепка* твоя натура.

Кажется, что я ничего путного не сделаю на Кавказе. Но это не беда: я собираюсь с силами, думаю беспрестанно, развиваю мои мысли, составляю планы статей и прочего. Только бы выздороветь, только бы избавиться от этого лимфозного наводнения, которое связывает душу, притупляет способности, убивает деятельность и уничтожает восприимчивость. Я жил доселе *отрицательно*: вспышки негодования были единственными источниками моей деятельности. Чтоб заставить меня почувствовать истину и заняться ею, надо, чтобы какой-нибудь идиот, вроде Шевырева, или подлец, вроде Сенковского, искажил ее, но я надеюсь, что Кавказ поможет мне. Вчера я только начал пить воду, и от одной дороги, диеты, перемены места, раннего вставания поутру чувствую себя несравненно лучше. Кавказская природа так прекрасна, что не удивительно, что Пушкин так любил ее и так часто вдохновлялся ею. Горы, братец, выше Мишки Бакунина и толще Ефремова. Кстати, он тебе кланяется. Ты не поверишь, как он успел в такое короткое время поглупеть. Кто бы мог подумать, чтобы этот человек лимфе и болезни был обязан тем, что казался не глупым человеком! Если он приедет в Москву совершенно излеченный, то Говорецкий и Сверчков будут казаться перед ним гениями.

Часто читаю Пушкина, которого имею при себе всего, до последней строчки. «Кавказский пленник» его здесь, на Кавказе, получает но-

вое значение. Я часто повторяю эти дивные стихи:

Великолепные картины,
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу орел двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.

Какая верная картина, какая смелая, широкая, размашистая кисть! Что за поэт этот Пушкин! Я с наслаждением и несколько раз перечел его — что бы ты думал? — его «Графа Нулина». Не говоря о верности изображений, волшебной живости рассказа, удивительном остроумии, он и в этой шутке, в этой карикатуре не изменяет своему характеру, который составляет грустное чувство:

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальний
Порой взволнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой,
Уж не она ли... Боже мой!
Вот ближе, ближе... Сердце бьется,
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Прощай, будь счастлив; храни мир и гармонию души своей, потому что счастье только в этом. Мечтай, фантазируй, восхищайся, трогайся; только забудь о двух нелепых вещах, которые тебя губят — магнетизме и фантастизме. Это глупые вещи. Я сильно начинаю разочаровываться в Гофмане, потому что никак не могу объяснить себе этой поэзии, сумасшедшей и болезненной. Мое почтение Сергею Тимофеевичу...

Твой В. Б.

К Д. П. ИВАНОВУ 7 АВГУСТА 1837

(ОТРЫВОК)

Пятигорск, 1837, августа 7

...мысль, или идея, в ее безразличном, всемирном значении — вот что должно быть предметом изучения человека. Вне мысли всё призрак, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты сам? Мысль, одетая телом; тело твоё сгниет, но твоё я останется, следовательно, тело твоё есть призрак, мечта, но я твоё существенно и вечно. Философия — вот что должно быть предметом твоей деятельности. Философия есть наука идеи чистой, отрешенной; история и есте-

ствознание суть науки идеи в явлении. Теперь, спрашиваю себя: что важнее — идея или явление, душа или тело? идея ли есть результат явления, или явление есть результат идеи? Если так, то можешь ли ты понять результат, не зная его причины? Может ли для тебя быть понятна история человечества, если ты не знаешь, что такое человек, что такое человечество? Вот почему философия есть начало и источник всякого знания, вот почему без философии всякая наука мертва, непонятна и нелепа. Но тебе нельзя начать прямо с философии: тебе надо приготовиться к ней путем искусства. Как к душевному просветлению через причастие христианин готовится путем поста и покаяния, так искусством должен ты очистить свою душу от проказы земной суеты, холодного себялюбия, от обольщений внешней жизни, и приготовить к принятию чистой истины. Искусство укрепит и разовьет в тебе любовь; оно даст тебе религию, или *истину в созерцании*, потому что религия есть *истина в созерцании*, тогда как философия есть *истина в сознании*. Кто уверен в истине по чувству и не может вывести ее из разума собственной свободной самостоятельностью, для того *истина существует только в созерцании*. Но, не имея истины в созерцании, невозможно иметь ее и в сознании. Ты был еще ребенком, а уже умел отличать добро от зла, истину от лжи — значит, что истина в созерцании всегда предшествует истине в сознании. Но в детстве ты мог чувствовать только житейскую, практическую истину, теперь ты должен приобрести созерцание истины отвлеченной, чистой, и это созерцание дается тебе искусством.

Меня всегда огорчало в тебе равнодушие к поэзии; ты занимался ею очень мало, а если и занимался, то не для наслаждения, а как будто по обязанности, чтобы уметь что-нибудь сказать о том или другом писателе, для образованности, чтобы не отстать от других, следовательно, по эгоизму, или для рассеяния, для забавы. Нет, искусством должно заниматься набожно, благоговейно, для высшего наслаждения, наслаждения, свойственного одному духу. Если ты понял создание великого гения, то должен радоваться тому, что *понял* его, что от этого *стал счастливее*, а не тому, что *ты* понял, *ты* стал счастливее. Какое тебе дело до того, что тебя все бы стали почитать неспособным к высшей истине, к высшему наслаждению, словом, человеком ограниченным и бездуш-

Гёте — и что со мною стало, когда я прочел «Утренние жалобы», а потом —

Лежу я в потоке на камнях... как рад я!
Идушей волне простираю объятья, и пр.

Новый мир! новая жизнь! Долой ярмо долга, к дьяволу гнилой морализм и идеальное резонерство! Человек может жить — все его, всякий момент жизни велик, истинен и свят! Тут подспели для меня переводы милого Гейне, и скоро мы прочли «Ромео и Юлию», чтобы узнать, что такое женщина... Бедный Шиллер!.. Тут началась моя война с Мишелем, война на смерть, продолжавшаяся с лишком год и кончившаяся совершенно месяца с три назад. Дело было вот в чем: мы очень плохо поняли «действительность», а думали, что очень хорошо ее поняли. В самом деле, мы рассуждали о ней, для начала, очень недурно, даже изрядненько и пописывали, но ужасно *недействительно* осуществляли ее в действительности...

К К. С. АКСАКОВУ. 10 ЯНВАРЯ, 1840

СПб. 1840, января 10-го

Любезный Константин, Панаев сию минуту прочел мне твое письмо к нему. Прошу тебя дружески извинить меня за мое к тебе письмо, грязное и не эстетическое, которое так глубоко оскорбило твое чувство. Поверь мне, что я не имел никакого намерения оскорблять тебя, а признаюсь в грехе — хотел только шутя намекнуть тебе на некоторые истины. Вижу, что поступил неловко. Я забыл, что не ко всем можно являться в халате, а к одним во фраке, к другим в сюртуке, смотря по отношениям. Вижу — и мне это горько, — что главная ошибка моего письма — в адресе. Еще раз прости меня, и будь уверен, что вперед личность моя будет являться к тебе для тебя, а не для себя и тебя вместе. В самом деле, странно требовать, чтобы состояние нашего духа равно интересовало всех, особенно когда мы уверены, что некоторых оно интересуется всегда и во всяком виде. Еще раз — прости.

Благодарю тебя, любезный Константин, за твое внимание и ласки моему брату: я смотрю на них, как на благоденствие для него и право на вечную мою благодарность. Если он тебе бывает иногда в тягость — не церемонься с ним, а главное, говори ему всегда правду без прикрас и, как мальчику, а не взрослому, удерживай от резонерств и самолюбия, к которым он удивительно как склонен. Будь уверен, ми-

лый Константин, что несмотря на все, я люблю тебя. Не знаю, до какой степени простирается моя любовь к тебе, но знаю, что все, что я услышу о тебе такого, чего бы не желал о тебе слышать, искренно огорчит меня, а все, что желал бы слышать о тебе — искренно радует меня. Я уверен, что, долго не видавшись, при свидании, каждый из нас удивится, что обрадовался другому больше, чем думал... Крепко, крепко жму твою руку, мой добрый и благородный Константин, и не прошу тебя о любви и дружбе, будучи в них так уверен, что не поверил бы самому тебе, если бы ты вздумал меня разуверять в них. Если тебе покажется так, — не верь себе, и я давно уже не верю себе в подобные минуты. Для меня враждебность стала любовью, и только равнодушие к человеку есть необманчивый признак, что я его не люблю. А к тебе я очень неравнодушен, потому что часто остервеняюсь против тебя. Что делать! Я люблю по-своему. Уведомь меня подробнее о впечатлении, которое произвела моя статья об «Очерках» Ф. Н. Глинки. Твое известие о неблагоприятности этого впечатления обеспокоило меня, как опасение за успех подписки на журнал; во всех других отношениях порадовало. Лишь бы не смотрели равнодушно, а бранить — с богом: это доказательство действительности идеи и некоторым образом моего служения ей. Сперва посердятся, а там и помирятся: это всегда так бывает.

Как моя статья кажется тебе? Бога ради — правду без оговорок. Приехавши в Питер, я увидел, что еще не умею писать — надо переучиваться, и я переучиваюсь. Никогда не сознавал я так ясно поверхности и недостатков своих писаний, как теперь. Пребывание в Питере для меня тяжело — никогда я не страдал так, никогда жизнь не была мне таким мучением, но оно для меня необходимо. Я бы желал и тебе пожить в этой отрицательно-полезной сфере. Какова Боткина статья о музыке! Когда я прочел ее, мне стало грустно за свои статьи. Панаев от нее без ума, читал ее другим раз пять и выучил наизусть. I № «Отечественных Записок» интересен. Стихотворения все знакомы тебе, кроме Лермонтова. Каков его «Терек»? Дьявольский талант! Присылай нам своего, только с условием *sine qua non* * — отдавай переписывать. Я привез с собою в Питер твою статью о Шиллере и отдал Краевскому. Так как для «Литературной Газеты» она велика и серьезна, под отдел «Отечествен-

* Без которого нельзя (обойтись). — Ред.

ных Записок» не подходит, то Краевский и хотел ее поместить в смеси 1 № и отослал в типографию, но получил обратно с уведомлением, что ни один наборщик не в состоянии разобрать в ней ни единой буквы. В 1 № «Отечественных Записок» моих две статьи: о «Горе от ума» и о Менцеле (эта поизуродована цензурою, а в начале ее НВ. первая оплеуха Сенковскому, вторая Надеждину, а 3-я Гречу, который на своих публичных чтениях тешил публику фразами из моей статьи, как образчиками галиматъи). Рецензии почти все мои, и одна из них, о «Критических очерках» Полевого, почти в 1½ листа. Если пропустят, то уверен, что последняя не только понравится тебе, но и приведет тебя в восторг. Бога самого ради, уведомя меня тотчас же, какое произведет впечатление статья о «Горе от ума» на Гоголя. Я что-то и почему-то не ожидаю хорошего, — но во всяком случае не церемонься: надо все знать.

Радуюсь твоей новой классификации: Гомер, Шекспир и Гоголь, но и дивлюсь ей. Куда же девался Гёте? О, юноша! пылка душа твоя, и я люблю ее прекраснородную пылкость! Вот мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который всего поглотил меня, и которого чем более узнаю, тем более не надеюсь узнать. Это Россия и единственный русский национальный поэт, полный представитель жизни своего народа. Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как $2+2=4$; но... Пушкин... Впрочем, надо еще подождать. Эти вещи трудны для выговаривания. Впрочем, личное знакомство с поэтом лучше знакомит с его творениями, или, по крайней мере, усугубляет наслаждение превозносить его.

Интересно мне знать, что ты скажешь о Ломоносове. Уж верно не то, что говорят и что не стоит быть говоримым. По крайней мере, со стороны его влияния на словесность я крепко усумнился. Говорят, что он в литературе Петр, а мне кажется, что даже и не Меншиков.

Видел Крылова и, признаюсь, с умилением смотрел на этого старца-младенца, о котором можно сказать: «сей остальной из стаи славной». Видел Жуковского, в тот вечер, как на него все напали за намерение *продать Гоголя* Смирдину. Жуковский — это воплощенное прекраснородие. В делах жизни он даже и не юноша, а меньше, чем ребенок. Во внутренней жизни он юноша, и я глубоко уважаю его юношество.

Портрет кн. Одоевского во «Сто литераторов» еще под сомнением. По крайней мере, он отрекся при мне от согласия. Чуть ли это не штучка подлеца Полевого. Успокой Николая Филипповича, которому, кстати, и поклонись от меня. Да, пожалуйста, дай ему знать, что в «Литературных Прибавлениях» писал о его повестях не я, а Межевич. Я таких пошлостей не писывал. Уж если бы лукавый дернул сподличать, то все не так глупо.

Мой искренний поклон Сергею Тимофеевичу. Верь, Константин, что я уважаю твоего отца искренно, хотя он, как мне кажется, и предубежден против меня. Что нужды! Я рад, что мои предубеждения против него кончились. Наши лета и понятия разнят и рознят нас, но я тем не менее уважаю его за верное чувство поэзии и за добрый и благородный характер. Да, в Петербурге таких людей не много. Поклонись от меня Гоголю и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества. М. С. Щепкину и всему запорожскому семейству правь челобитье великое и не жалея лба. Если бы ты был сильнее Митьки, я бы попросил тебя прибить его за то, что не пишет ко мне.

Кланяйся всем, кто помнит меня.

Жму твою руку и обнимаю тебя.

Твой неистовый *Виссарий*.

Панаев из рук вон: глуп — мочи нет. Да ты сам это знаешь. Книга о ноздренном дыхании у князя есть своя, и потому не хлопочи. Отвечай мне поскорее, буду с нетерпением ждать ответа, да пиши поразборчивее. Лажечников очень доволен твоим знакомством. Он очень тебя *понравил*.

К В. П. БОТКИНУ. 24 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА 1840

(отрывок)

Пиши ко мне, Боткин, пиши *все* и обо всем. Может быть, иное будет и непонято мною, но верь мне, мой Василий, все, малейшая подробность, будет принято к сердцу, перечувствовано им, доставит мне минуту счастья. Да, больше, больше о себе и о *ней* — тебе грешно думать, чтобы ты мог наскучить мне подробно-

вредно. Что делать? Гибель частного в пользу общего — мировой закон. В утешение наше (хоть это и плохое утешение) мы можем сказать, что хоть Гамлет (как характер) и ужасная дрянь, однакож он возбуждает во всех еще больше участия к себе, чем могущий Отелло и другие герои шекспировских драм. Он слаб и самому себе кажется гадоком, однако, только пошляки могут называть его пошляком и не видеть проблесков великого в его ничтожности. Воспитание лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования и лишили *всякой* возможности сродниться с наукою; с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где ж убежище нам? на необитаемом острове, которым и был наш кружок. Но последние наши ссоры показали нам, что для призраков нет спасения и на необитаемом острове. Я расстался с тобою холодно (дело прошлое!), без ненависти и презрения, но и без любви и уважения, ибо потерял всякую веру в самого себя. В Петербурге, с необитаемого острова я очутился в столице, журнал поставил меня лицом к лицу с обществом, — и богу известно, как много перенес я! Для тебя еще не совсем понятна моя вражда к *москвoduшию*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обе. Меня убило это зрелище общества, в котором действуют и играют роли подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии на необитаемом острове. Вот, например, ты: что бы мог ты делать и что делаешь? Маленький пример: ты хотел написать о концертах в Москве, но состояние духа не позволило тебе. Боткин, не прими моих слов за детский упрек или за москвoduшное обвинение. Нет, не тебя, а целое поколение обвиняю я в твоём лице. Отчего же европеец в страдании бросается в общественную деятельность и находит в ней выход из самого отчаяния? О, горе, горе нам —

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Должно быть, по этой причине я не знаю по-немецки, хотя и толкую об искусстве, Гёте и Шиллере. Жалкое поколение! А кстати: я не согласен с твоим мнением о *натянутости* и *изысканности* (местами) Печорина, они ра-

зумно необходимы. Герой нашего времени должен быть таков. Его характер — или решительное бездействие, или пустая деятельность. В самой его силе и величии должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтов великий поэт: он объективировал современное общество и его представителей. Это навело меня на мысль о разнице между Пушкиным и Гоголем, как *национальными* поэтами. Гоголь велик, как Вальтер Скотт, Купер; может быть, последующие его создания докажут, что и выше их; но только Пушкин есть такой наш поэт, в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их. Лермонтов обещает то же.

Да, наше поколение — израильтяне, блуждающие по степи, и которым никогда не суждено узреть обетованной земли. И все наши вожди — Моисеи, а не Навины. Скоро ли явится сей вождь? ..

.....
.....
Всякая индивидуальность есть столько же и ложь, сколько и истина — человек ли то, народ ли, и, только ознакомляясь с другими индивидуальностями, они выходят из своей индивидуальной ограниченности. Но об этом после. С французами я помирился совершенно: не люблю их, но уважаю. Их всемирно-историческое значение велико. Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере. Любовь моя к родному, к русскому стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство: Все субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло.

Состояние моего духа похоже на апатию. Ясный день — я счастлив, но счастлив животное, без мысли, без трепета любви, без страдания. Природа радуется мой организм, но не дух...

К К. С. АКСАКОВУ. 23 АВГУСТА 1840

СПб. 1840, августа 23

Я совершенно согласен с тобою, любезный Константин, что все заочные объяснения ужасно глупы, особенно письменные, — итак, к чорту их. В самом деле, пора нам перестать быть детьми и понимать взаимные наши отношения просто, не натягивая их ни на какие мерки.

Что тебе сказать мне о самом себе? И много хотелось бы, а не говорится ничего.

Увидимся — потолкуем. Худо, брат, худо: мне все кажется, что жизнь слишком ничтожна для того, чтобы стоило труда жить; а, между тем, и живешь, и страдаешь, и любишь, и стремишься, и желаешь. Станкевич умер — и что после его осталось? — труп с червями. Одним словом, так или иначе, только результат все один и тот же:

И жизнь, как посмотришь с холодным
вниманием вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!

Да и какая нам жизнь-то еще? В чем она, где она? Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество! У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах — вот наша жизнь. Что за жизнь для человека вне общества! Мы ведь не монахи средних веков. Гадкое государство Китай, но еще гаже государство, в котором есть богатые элементы для жизни, но которое спелено в тисках железных и представляет собою образ младенца в английской болезни. Гадко, гнусно, ужасно! Нет больше сил, нет терпенья.

Спасибо тебе за внимание к моему брату, пожалуйста, не оставляй его.

Я слышал, что Сергей Тимофеевич скоро будет в Питере — очень приятно будет мне увидеться с ним. Прощай. Твой В. Б.

Да скажи, увидимся ли мы с тобою, и когда именно.

К В. П. БОТКИНУ. 10—11 ДЕКАБРЯ 1840

(отрывок)

Однакож, черт возьми, я ужасно изменяюсь; но это не страшит меня, ибо с пошлою действительностью я все более и более расхожусь, в душе чувствую больше жару и энергии, больше готовности умереть и пострадать за свои убеждения. В прошедшем меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к наслаждению, и я упускал их, вследствие пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примирение с гнусною действительностью. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения! Более всего печалит меня теперь выходка против Мицкевича в гадкой статье о Менцеле: как! отнимать у великого поэта священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего в

мире и в вечности — его родины, его отечества, и проклинать палачей его, и каких же палачей? — казаков и калмыков, которые изобретали адские мучения, чтобы выпытывать у жертв своих деньги (били гусиными перьями по... , раскладывали на малом огне благородных девушек в глазах отцов их — это факты *европейской* войны нашей с Польшею, факты, о которых я слышал от очевидцев). И этого-то благородного и великого поэта называл я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлетов! После этого всего тяжелее мне вспомнить о «Горе от ума», которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее гуманическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего о..... светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр. О других грехах: конечно, наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом, свою *историческую законность*; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени — фэй — неужели я говорил это?.. Конечно, идея, которую я силлся развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото, — а если этого нельзя было писать, то долг *чести* требовал, чтобы уж и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества *au drapeau tricolore*?* — Проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусною расейскою действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чиновлюбия, крестолубия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глу-

* Под трехцветным флагом. — *Ред.*